

Игорь Шестков "На Пасху"

Мы встретились у касс Ярославского вокзала. Женя Бесноватый, Лапа, Стасик Стекланный и я. Женя обнял меня своими огромными ручищами. Прижал к груди. Его не очень чистое старомодное пальто пахло сигаретами «Прима», он был умыт, выбрит, и смотрел приветливо. Все его клички: «Бес», «Бесноватый», «Бешеный», «Мосгаз» были ему даны за подвиги, которые он совершал в делящихся неделями беспробудных запоях. В эти окаянные дни Женя не узнавал знакомых, хамил и дрался. Кончалось это для него обычно в милиции, из которой он попадал в клинику, в «дурку», как он ее называл. Там его хорошо знали; знали, что после «отходняка» Женя будет смирный, что починит бесплатно часы и пишущую машинку и вообще все, что можно починить, а если надо и полы отциклюет и стены покрасит. Был он – в трезвом состоянии – отзывчивым и добрым. Все время кому-то что-то ремонтировал, кого-то перевозил. Через три-четыре недели после поступления в дурдом, его отпускали. Выйдя на волю, Женя клялся себе и друзьям, что «больше водяру в рот не возьмет» и действительно не пил иногда месяца по четыре.

Жил он очень бедно – получал грошовую пенсию по нетрудоспособности. Отец-прокурор помог оформить. Но сейчас был при деньгах – отремонтировал знакомому стенные часы и получил гонорар. Приобрел новые носки, олово, одеколон и оленьи рога. Оставшиеся рубли решил потратить на поездку в Загорск, на Пасху. Купил билет себе и Лапе, у которого, как всегда, денег не было.

Лапа был мужчина лет сорока. Плюгавый. Носил рыжие старые ботинки, нелепые коричневые брюки с отворотами, грязное пальто «со смехом» и полосатую шапку. Тело у Лапы было маленькое, неказистое, а лицо – широкое, русское, доброе. Имел он крупный нос, вечно моргающие глаза и неожиданно длинные ресницы. Жил много лет с женой и тремя дочками в огромной коммуналке на Чистых прудах. Однажды его жена решила устроить дома выставку художников-нонконформистов. Кто-то из знакомых притащил меня туда, познакомил с Лапой. Мы стали приятельствовать. Он как и я любил старые

русские книги, подарил мне, помнится, «Житие святого Николая Мирликийского» Симеона Метафраста, а я ему за это что-то переплел. Баловался тогда переплетами.

Работал Лапа где попало и с паузами, на одном месте долго не задерживался. На всех работах его третировали. Все у него вечно не ладилось. Даже собственные дочки дразнили. Хотя и не без науськивания матери. Лапа все принимал с терпением. Только моргал. И потирал руки.

И с женой было плохо. Она его не любила, уже много лет с ним не спала, жила богемной московской жизнью. К ней приходили подпольные писатели, непризнанные композиторы, диссиденты и откровенные сумасшедшие. Они пили, ели, курили ночи напролет, играли на старом расстроенном пианино, сорили. Иногда гостили месяцами. Стоит добавить, что в квартире жили кроме соседей, Лапы, жены и трех дочерей: спасенная в последний момент от супа курица, две собаки, черепаха, зайчик, три морские свинки и удод Веньямин. Удод был подарен выгнанным с работы за похищение зверей и звериного корма сотрудником зоопарка, поэтом-авангардистом Пучковым. Удод, впрочем, не прижился и прожил в Лапиной квартире всего полгода. Поэт Пучков пожалел его, забрал и держал дома, но потом, в безденежье, продал удода на Птичьем рынке.

Стасик был другом Жени и Лапы. Работал в ящике. Изготавливал там хитрые приборы для «этих мудозвонов», как он называл своих военных заказчиков. «Стеклянным» его прозвали за то, что он выдувал в свободное время из казенного сырья затейливые фигурки, которые иногда продавал, а чаще дарил друзьям и их женам. Розовый бычок, фантастический цветок, чудовище, изысканная кисть пианистки, инопланетянин. Все это переливающееся красками хрупкое великолепие создавал мрачный русский человек, нигде не учившийся, никогда в жизни не бывавший в музеях. На неправильном лице Стасика выделялись широкие скулы. У него был узкий лоб, кривой нос, очень маленькие, глубоко посаженные глаза, ежовые брови. Однажды я принес ему книгу «Чешское художественное стекло». Он открыл ее, полистал и вернул мне, добавив: «Да... мне не надо, я сам, как могу... буду дуть».

Стасик был молчалив и застенчив. Подошел к кассе, купил себе билет, крякнул и

отошел. И до самого отъезда курил папиросы и смотрел на асфальт. Молчал и в электричке и на пасхальной службе.

У меня билет уже был, потому что я уже час как торчал на вокзале, хотел посмотреть на народ, на поезда.

Народ приливал и отливал как темный океан, волновался как неуправляемая стихия. Был скорее процессом, чем совокупностью индивидуумов. Поезда истерично вскрикивали гудками. Их железные, покрытые рыцарскими доспехами лбы таранили пространство.

Почему все это наводит на меня тоску? Ну да, сама позиция наблюдателя уже предполагает отчужденность и высокомерие. Вот тут стою я. А там – океан, механический муравейник, там толпа, там поезда-тритоны. Моя страна, мой народ. А я заблудился. Не в небе, на Ярославском вокзале.

Зашел в зал где кассы. Встал в углу, закрыл глаза. Попытался сосредоточиться на Пасхе. Задал себе мысленно вопрос, верю ли я в воскресение Христа.

Вопрос этот всегда был для меня особенно мучителен. Ведь если Он не воскрес, то в мире царствует смерть, природа. А природа не знает ни красоты, ни милосердия, ни искусства... В ней нет ни спасения ни возмездия. Никто за нами не наблюдает. Никто не накажет убийц. Никто не наградит праведников. Мы мушки. Летаем в банке. Рождаемся и умираем. И никому до этого нет дела, кроме нас самих. Получалось, что в Бога я не верю, а в добро и милосердие верю. Вранье. На самом деле я ни во что не верил. Ни в Бога, ни в носорога. И мне было от этого страшно.

Не веришь, тогда зачем едешь в Загорск? К бабкам, дурачкам и надутым попам. Да еще в кампании придурков. Им-то все это христианство вообще до лампочки. Заслониться ими хочешь? Струсил собственного нигилизма?

Когда из толпы показался, наконец, Лапа, сияя улыбкой на блинообразным лице, на сердце у меня немного отлегло. Схватился за него как за соломинку. И начал себя успокаивать. Самому себе лапшу на уши вешать. Ля-ля. Ля-ля. Ля-ля. Ты не один в этом мире. У тебя есть друг-приятель. Друг? Да ты что, спятил? Лапа – твоя жертва. На него можно свалить тяжесть жизни. Ведь он тебе противен. Тебе все противны. И в первую очередь – ты сам.

А потом подвалили и Стасик с Женей. Огромная фигура Жени возвышалась над

низкорослым московским людом сантиметров на тридцать – чуть чуть до двух метров не домахал. И в плечах он был широк как старый дубовый стол. Русский человек. Корневой. Хотя лицом и смахивает на смесь татарина с запорожцем. И Стасик, хоть и поменьше ростом, но тоже кряжистый, от сохи. Дуб. Вот, посмотри, они – настоящие. А ты – осина трепещущая...

Куда электричка? До Александрова? Значит наша. Вошли в просторный, почти пустой вагон. Сели на отполированные многочисленными задами деревянные сиденья. Середина апреля, на улице еще белые мухи летают. А в вагоне – благодать. Тепло. Шпалами пахнет.

Поехали. По дороге говорили мало. Вечер. В окнах мелькала подмосковная дичь. Когда вышли в Загорске, уже сильно потемнело. Небольшой кусок неба еще сверкал апрельской синевой. Там, где еще недавно было Солнце, расплывалось розовое пятно. Было холодно. Мы двинулись в сторону Лавры.

Достигли Святых ворот. Вошли в монастырь. Подошли к Успенскому собору. Поглядели на его мощные плечи, на слишком тяжелые купола. Спелые груди, тянущиеся крестообразными сосками в небеса. Вошли в собор. И сразу застряли в плотной толпе. Женя жал как бульдозер. На него шипели. Но протолкнуться к алтарю мы так и не смогли, всю службу простояли припертые к громадной, четырехугольной колонне. Под тяжелой хрустальной люстрой. Я боялся, что люстра не выдержит собственной тяжести и упадет. Представлял себе, что тогда будет.

Под утро чуть не задохнулись от испарений толпы. Колыхались вместе со всеми как море. Видели только темную, стонущую, напирющую на нас человеческую массу да часть высоченного золотого иконостаса. Зато прекрасно слышали хоры и священников.

Кончилась служба. Расцеловались. Вышли из собора. Отдышались. Съели пару припасенных Лапой бутербродов с любительской колбасой. Выпили чай из термоса. Походили по монастырю. Постояли у знаменитой лаврской колокольни. Дикая архитектура. Барокко посреди русского средневековья. Русская вариация ступенчатой пирамиды. Православный Зиккурат.

Я зашел в Троицкую церковь. Поклониться Сергию. Посмотреть на рублевские иконы. Спутники мои на дворе остались, закурили.

Странный мир. Завораживает. Сразу ясно – если войдешь, то уже не выйдешь. Опиум. Царство небесное. Серебряная кровать-усыпальница Сергия со стеклянным окошечком. Что она мне напоминает? «Секрет». Секреты строили дети во дворе. Поймаешь кузнечика. Найдешь стекляшку. Выроешь ямку. И кузнечика туда. Под стекло. И стеклышко по краям присыплешь землей. Но так, чтобы кузнечика видно было. А потом смотришь, как он там скребется. Без садизма. Какой уж тут садизм у пятилетнего? Это сама жизнь. Вот и Сергей – старый кузнец – попал под стекло. И смотрит своими мертвыми глазами на мир из своего «секрета». Нравится ли ему то, что он видит?

Вышел на воздух. Поприветствовал приятелей. Лапа отдал мне честь. Мы немного попрыгали, чтобы взбодриться, потом пошли к выходу из Лавры. Зашли по дороге в туалет. Ужас! Вот оно, истинное лицо монастыря. Глубокие лужи мочи и плавающие в них испражнения верующих.

Притащились на станцию. Поезд уже стоял. Зашли в вагон. Сели. Лапа достал бутылку водки, стаканы, соленые помидоры, лук и половину Орловского. Разлил водку. Разломил хлеб.

Я сказал Бесноватому: «Жень, тебе лучше не пить. Опять начнется».

«Ничего, я только пару бульков. Один разок. Как же за Пасху не выпить. Не боись, я себя в руках держу. Давно уже запоя не было».

«В этом и проблема».

«Нет проблем, Димыч-друг, все ништяг!»

Лапа поднял стакан и сказал: «Ну, за нас, то есть – Христос Воскресе!»

Женя пробасил в ответ: «Воистину воскрес!»

Стас только головой мотнул. Я тоже ничего не сказал.

Не испытал я катарсиса в церкви. Тянулось сердце. Туда, в православную сладость. В высоту. В безумие умиленности. Особенно когда пели «... яко восста Господь, умертвивый смерть...»

Но в небо «грехи не пускали». Остался на земле.

Мы выпили. От пахнувшей химией водки меня передернуло. Занюхал поскорее хлебной коркой. Положил на ломоть толстое колечко лука. Закусил. Съел помидор. Засол замечательный. Во рту взрывается. Язык обжигает. Для себя Лапа солил. Вот ведь талант пропадает. Почему все, что в магазине, такое

невкусное? Коммунизм проклятый. В космос летаем, а едим гадость.

Лапа выпил осторожно, «кошачей лапкой». Тихо крякнул, занюхал рукавом.

Потер руки. Есть не стал. Деликатный человек. Подумал наверное: «Я – маленький. Мне много не надо. А друганы – один другого здоровее. Пожрать мастаки. Пусть себе рубают».

Женя выпил как знаток, не морщась, на выдохе. Закусывать не стал. Я подумал: «Хочет, чтобы ханка подействовала сильнее. Истосковался. Дурак я. Не надо было ему давать. Отговорить надо было. А теперь – жди сюрпризов».

Стас Стекланный выпил свои пятьдесят грамм без аффектации. Покривил рот. Закусил. Рыгнул. Сказал: «Ну, отрава!» И замолчал.

Посидели. После первой всегда воцаряется затишье. Непонятно, куда все пойдет. Поэтому нетерпеливые скорее вторую хотят. А мудрецы смакуют. Ждут, когда печаль бытия сама рассосется и обиженная зельем душа твердо скажет: «Давай по второй. Что ее теперь, мариновать что ли?»

Женя Бесноватый вдруг пробурчал: «А меня вчера менты взяли».

Помолчал минуту. Затем продолжил: «Продержали в милиции до пяти...

Допрашивали. Кровь брали. Потом отпустили».

Лапа вякнул: «Тык, за что это? Донора они из тебя что ли сделать собрались?»

«Какой донора. Донор я уже давно. Подозревали меня. Думали, я маньяк.

Который пацанов в Подмоскowie потрошит».

«Да ну!»

«Позвонили в десять. Я открыл. Ментов было трое. Полковник, майор и наш участковый. Участковый сказал: «Доигрался ты, Бес. Допрыгался!»

А майор с полковником топоры увидели и перебздели, майор даже в кобуру полез. За пистолетом».

«Какие топоры?»

Лапа объяснил: «Ты у Беса дома не был. Как войдешь, в коридоре два топора висят. В петлях. А в комнатах портреты. Гитлера, Сталина и Муссолини. А теперь и этого, Ванафранко повесил».

«Ты чего не знаешь, не говори, – перебил Женя. – Не Ванафранко, а Каудильо Франко. Каудильо – предводитель по-ихнему, по-испански. Как менты портреты увидели, так сразу на меня наручники надели. И повели. Соседи высунули рожи

из квартир, лыбятся, довольны. А то, что я им всем помогал – никому и в голову не приходит. Скотобаза!»

«Так вроде поймали маньяка».

«Если бы поймали, не стали бы меня в отделение таскать, кровь сосать. У меня еще иголка в руке торчала, как майор кивнул подполковнику – нет, мол, не этот. Группа крови не та. Видать, где-то крованул мужик, так они теперь кто повыше, да на учете состоит, тягают. Формальности мол, говорят. Мы всех проверяем. Извините за наручники. А топоры вы все таки снимите. А то кого-нибудь убьете ненароком. А я никого убивать не собираюсь. Топоры висят для самозащиты. Если грабить придут. У нас в доме уже троих ограбили. Цыганы. Или местные, одинцовские отметились. Ну, давай Лапа, по второй, что ли!»

«Ты же хотел один разок?»

«Эх раз, еще раз, еще много, много раз...»

Лапа засуетился, достал бутылку из кулька, начал разливать оставшуюся водку.

«Да ты не мельтеши, разливай всю!»

Женин голос явно стал громче. В нем появились грозные нотки.

Я подумал: «Вот незадача. У Беса запой начинается. А бежать некуда. Мы в поезде. Хорошо, кроме нас и в вагоне нет никого. А то бы началась потеха».

Попросил Лапу: «Мне поменьше наливай. Не пошла. Злая водка. Не московского разлива, что ли?»

«Ярославская. Нам ее Тыня принес. У него там корешки на спиртзаводе. Я говорит, у вас месяцок проживу и заплачу водочкой. Ну я тогда одну поллитру и припрятал».

Стасик выпил и сказал: «Ах, отрав!»

Мне пить не хотелось. Но я переборол себя и выпил немного из стакана.

Поперхнулся. Закашлялся. Лапа стал бить меня ладонью по загривку. Полегчало. Чтобы не казаться слабаком, допил стакан, но опять поперхнулся.

Лапа выпил тихо. Зевнул. Закусывать не стал. Потер руки. Заморгал.

Женя выпил свою водку, грозно глянул на нас и спросил: «Больше нет?»

Никто ему не ответил. У меня и у Стасика не было, но у Лапы в кульке было еще грамм четыреста разведенного спирта. Я это знал, а Стасик и Женя не знали.

Лапа видно решил поначалу спирт зажать, чтобы Женя не пошел в разнос. Но

потом не выдержал давления, глубоко вздохнул, пробормотал что-то, потер руки и достал бутылку из под молока, заткнутую газетой.

Бесноватый тут же налил себе полный стакан и выпил, даже не дождавшись, когда Лапа остальным нальет. Я заметил, что лицо у Жени побурело. Глаза налились кровью. Из них исчез разум. Зато появились бычье упрямство и злоба. И тут, как назло, в наш вагон вошли люди. Целая компания. На станции Заветы Ильича. Черт бы побрал и Ильича и его Заветы. Несколько мужчин и женщин. Все они были навеселе. Разговаривали громко, не стесняясь. Женщины смеялись, мужчины рассказывали неприличные анекдоты. Как тогда говорили, «духарились». Особенно громко выступал здоровый блондинистый парень лет двадцати пяти в светлой дубленке с вышивкой. Он и говорил и изображал кого-то, даже в пляс пару раз пустился между сиденьями. В нашу сторону не глядел. «Да, эти разговелись», – кивнув на пришельцев, пробормотал Лапа.

Я попытался отвлечь Женю от неизбежной конфронтации.

Спросил его: «Ты что думаешь о нашем новом?»

Горбачева только недавно избрали генсеком. Никто тогда толком не знал, что он за человек. Не знали, что будет в стране. Боялись. Пересказывали слухи.

Шептали, что пятна на его лысине – это сатанинские знаки.

«О Меченом что ли?» – голос Жени уже не был просто громок. Это был гром.

«Ну да, говорят, он перешерстит все по новой».

«Горбач всем отвесит п.здюлей! Всем отвесит! Всему сраному совдепу. И ментам и прокурорам. И тебе и тебе и тебе!»

Он явно имел в виду нас.

Потом голос Жени возвысился еще на тон и он проорал парню в дубленке: «И тебе, козел, Горбач тоже отвесит п.здюлей! Желтеньких».

Тот позеленел от злости. А до этого он был краснощекий – кровь с молоком. Подвалил к Жене. Разбираться. Это было ошибкой. Надо было не расслышать. Может и пронесло бы. Женя ударил его огромным кулаком в нос. Как будто молотом. Беззвучно. Только черное пальто метнулось как раненая птица. От разбитого носа сразу полетели в разные стороны капельки крови. Как красные бусинки. Парень обмяк, повалился на грязный пол, его оттащили товарищи, а мы с Стасиком попытались усмирить Женю. Он отбросил нас одним броском, но

драку не продолжил, а сел на место. Какие-то мысли его отвлекли. Мы тоже сели. Соседи наши благоразумно перешли в другой вагон.

Лапа моргал и причитал: «Бес, ты пожалуйста успокойся. Хорошо, если они к дежурному по поезду не пойдут. Тот сразу милицию вызовет. Арестуют нас всех. На Пасху!»

Стасик выпил еще немного спирта и проговорил в сердцах: «Во отравка!»

Женя и Лапа пить не стали. Мне и подумать о спирте было невыносимо. Рвотная муть ходила где-то под горлом.

Просидели минут десять в тишине. Только качались как маятники. Потом Бесноватый вдруг заорал: «Не могу. Душа болит!»

Выхватил у Лапы из рук бутылку и прямо из горлышка быстро допил ее. Кинул пустую бутылку на пол. Стало ясно, что он сейчас разбушует, как шторм.

Я попытался его урезонить: «Жень, ты бы сел. Скоро уже к Москве подъедем. Если будешь бушевать, менты на вокзале пристанут. Ты сам знаешь, в праздники они как мухи злые. А нам еще на метро ехать».

В ответ на это Бесноватый прорычал: «Иди ты... Советчик, бя! Жидюга! Я тебя знать не знаю, тварь. Чего приебался? Менты? Насрать на ментов. Москва? Е.ал я твою Москву! Понял? Праздники? Да насрал я на твои праздники. Уу, гад, раздавлю!»

Он схватил меня за горло и начал душить. У меня в глазах почернело. Я попытался отодрать его руки, но это было все равно, что отдирать рельсы от шпал. Мелькнула мысль: «Конец истории...»

Тут, как мне потом рассказал Лапа, Женю ударил Стасик. В грудь. И как косой скошил. Бесноватый расцепил свои клешни, опрокинулся, упал. Падая, ударился затылком о железную ручку на сиденье. Захрипел.

Мы с трудом подняли его и положили на лавку. Лапа достал закатившуюся под сиденье бутылку и вылил остатки спирта на рану на затылке. Выглядел Женя жалким и страшным. Черные с проседью волосы сбились в перья. Кровь залила шею и капала на пол. Лицо посинело. Глаза закатились. Пальцы скрючились, ногти почернели. До нас не сразу дошло, что наш приятель умер.